

Хождение по мукам Восемнадцатый год

Из собрания сочинений

Хождение по мукам. Сёстры
Хождение по мукам. Восемнадцатый год
Хождение по мукам. Хмурое утро
Пётр Первый
Аэлита
Повести и рассказы (1912-1916)
Гиперболоид инженера Гарина
Повести и рассказы (1917-1924)
Повести и рассказы (1925-1928)
Рассказы Ивана Сударева
Стихотворения
Пьесы

Алексей Толстой
Из собрания сочинений

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД

ТОМ 2

ФТМ

Москва, 2018

УДК 82/821-821.161.1
ББК 84(2)
Т52

Толстой, А.

Т52 Хождение по мукам. Восемнадцатый год / А. Толстой. – М. : Т8RUGRAM / Агентство ФТМ, 2018. – 382 с.

ISBN 978-5-4467-1787-3

«Хождение по мукам» — уникальная по яркости и масштабу повествования трилогия, на страницах которой перед читателем предстаёт картина событий, потрясших мир в начале XX века.

Выдающееся произведение А.Н. Толстого показывает Россию в один из самых ярких, сложных и противоречивых периодов её истории — в тревожное предреволюционное время, в суровые годы революционных потрясений и Гражданской войны.

litagent.ru

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.

УДК 82/821-821.161.1
ББК 84(2)
ВІС FC
BISAC FIC004000

ISBN 978-5-4467-1787-3

© Т8RUGRAM, 2018
© ООО «Агентство ФТМ,
Лтд.», 2018
© Текст. А. Толстой,
наследники, 2018

В трех водах топлено,
в трех кровях купано,
в трех щелоках варено.
Чище мы чистого.

1

Все было кончено. По опустевшим улицам притихшего Петербурга морозный ветер гнал бумажный мусор — обрывки военных приказов, театральных афиш, воззваний к «совести и патриотизму» русского народа. Пестрые лоскуты бумаги, с присохшим на них клейстером, зловеще шурша, ползли вместе со снежными змеями поземки.

Это было все, что осталось от еще недавно шумной и пьяной сутолоки столицы. Ушли праздные толпы с площадей и улиц. Опустел Зимний дворец, пробитый сквозь крышу снарядом с «Авроры». Бежали в неизвестность члены Временного правительства, влиятельные банкиры, знаменитые генералы... Исчезли с ободранных и грязных улиц блестящие экипажи, нарядные женщины, офицеры, чиновники, общественные деятели со взбудораженными мыслями. Все чаще по ночам стучал молоток, заколачивая досками двери магазинов. Кое-где на витринах еще виднелись: там — кусочек сыру, там — засохший пирожок. Но это лишь увеличивало тоску по исчезнувшей жизни. Испуганный прохожий жался к стене, косясь на патрули — на кучи решительных людей, идущих с красной звездой на шапке и с винтовкой дулом вниз, через плечо.

Северный ветер дышал стужей в темные окна домов, залетал в опустевшие подъезды, выдувая призраки минувшей

роскоши. Страшен был Петербург в конце семнадцатого года.

Страшно, непонятно, непостигаемо. Все кончилось. Все было отменено. Улицу, выметенную поземкой, перебежал человек в изодранной шляпе, с ведром и кистью. Он лепил новые и новые листочки декретов, и они ложились белыми заплатками на вековые цоколи домов. Чины, отличия, пенсии, офицерские погоны, буква ять, Бог, собственность и само право жить как хочется — отменялось. Отменено! Изпод шляпы свирепо поглядывал наклейщик афиш туда, где за зеркальными окнами еще бродили по холодным покоям обитатели в валенках, в шубах, — заламывая пальцы, повторяли:

— Что же это? Что будет? Гибель России, конец всему... Смерть!..

Подходя к окнам, видели: наискосок, у особняка, где жило его высокопревосходительство и где, бывало, городской вытягивался, косясь на серый фасад, — стоит длинная фура, и какие-то вооруженные люди выносят из настезь распахнутых дверей мебель, ковры, картины. Над подъездом — кумачовый флажок, и тут же топчется его высокопревосходительство, с бакенбардами, как у Скобелева, в легком пальтишке, и седая голова его трясется. Выселяют! Куда в такую стужу? А куда хочешь... Это — высокопревосходительство-то, нерушимую косточку государственного механизма!

Настает ночь. Черно — ни фонаря, ни света из окон. Угля нет, а, говорят, Смольный залит светом, и в фабричных районах — свет. Над истерзанным, простреленным городом воеет вьюга, насвистывает в дырявых крышах: «Быть нам пу-у-усту». И бухают выстрелы во тьме. Кто стреляет, зачем, в кого? Не там ли, где мерцает зарево, окрашивает снежные облака? Это горят винные склады... В подвалах, в вине из раз-

битых бочек, захлебнулись люди... Черт с ними, пусть горят заживо!

О, русские люди, русские люди!

Русские люди, эшелон за эшелон, валили миллионными толпами с фронта домой, в деревни, в степи, в болота, в леса... К земле, к бабам... В вагонах с выбитыми окнами стояли вплотную, густо, не шевелясь, так что и покойника нельзя было вытащить из тесноты, выкинуть в окошко. Ехали на буферах, на крышах. Замерзали, гибли под колесами, проламывали головы на габаритах мостов. В сундучках, в узлах везли добро, что попадалось под руку, — все пригодится в хозяйстве: и пулемет, и замок от орудия, и барахло, взятое с мертвеца, и ручные гранаты, винтовки, граммофон и кожа, срезанная с вагонной койки. Не везли только денег — этот хлам не годился даже вертеть козы ножки.

Медленно ползли эшелоны по российским равнинам. Останавливались в изнеможении у станции с выбитыми окнами, сорванными дверями. Матерным ревом встречали эшелоны каждый вокзал. С крыш соскакивали серые шинели, щелкая затворами винтовок, кидались искать начальника станции, чтобы тут же прикончить прихвостня мировой буржуазии. «Давай паровоз!.. Жить тебе надоело, такой-сякой, матерний сын? Отправляй эшелон!..» Бежали к выдохшемуся паровозу, с которого и машинист и кочегар удрали в степь. «Угля, дров! Ломай заборы, руби двери, окна!»

Три года тому назад много не спрашивали — с кем воевать и за что. Будто небо расколосось, земля затряслась: мобилизация, война! Народ понял: время страшным делам надвинулось. Кончилось старое житье. В руке — винтовка. Будь что будет, а к старому не вернемся. За столетия накопили обиды.

За три года узнали, что такое война. Впереди пулемет и за спиной пулемет, — лежи в дерьме, во вшах, покуда жив. Потом — содрогнулись, помутилось в головах — революция... Опомнились, — а мы-то что же? Опять нас обманывают? Послушали агитаторов: значит, раньше мы были дураками, а теперь надо быть умными... Повоевали, — повертывай домой на расправу. Теперь знаем, в чье пузо — штык. Теперь — ни царя, ни Бога. Одни мы. Домой, землю делить!

Как плугом прошлись фронтовые эшелоны по российским равнинам, оставляя позади развороченные вокзалы, разбитые железнодорожные составы, ободранные города. По селам и хуторам заскрипело, залязгало, — это напильничками отпиливали обрезы. Русские люди серьезно садились на землю. А по избам, как в старые-старые времена, светилась лучина, и бабы натягивали основы на прабабкины ткацкие станки. Время, казалось, покатило назад, в отжитые века. Это было в зиму, когда начиналась вторая революция, Октябрьская...

Голодный, расхищаемый деревнями, насквозь прохваченный полярным ветром Петербург, окруженный неприятельским фронтом, сотрясаемый заговорами, город без угля и хлеба, с погасшими трубами заводов, город, как обнаженный мозг человеческий, — излучал в это время радиоволнами Царскосельской станции бешеные взрывы идей.

— Товарищи, — застужая глотку, кричал с гранитного цоколя худой малый в финской шапочке задом наперед, — товарищи дезертиры, вы повернулись спиной к гадам-имперьялистам... Мы, питерские рабочие, говорим вам: правильно, товарищи... Мы не хотим быть наемниками кровавой буржуазии. Долой имперьялистическую войну!

— Лой... лой... лой... — лениво прокатилось по кучке бородатых солдат.

Не снимая с плеч винтовок и узлов с добром, они устало и тяжело стояли перед памятником императору Александру III. Заносило снегом черную громаду царя и — под мордой его кuceй лошади — оратора в распахнутом пальтишке.

— Товарищи... Но мы не должны бросать винтовку! Революция в опасности... С четырех концов света поднимается на нас враг... В его хищных руках — горы золота и страшное истребительное оружие... Он уже дрожит от радости, видя нас захлебнувшимися в крови... Но мы не дрогнем... Наше оружие — пламенная вера в мировую социальную революцию... Она будет, она близко...

Конец фразы отнес ветер. Здесь же, у памятника, остановился по малой надобности широкоплечий человек с поднятым воротником. Казалось, он не замечал ни памятника, ни оратора, ни солдат с узлами. Но вдруг какая-то фраза привлекла его внимание, даже не фраза, а исступленная вера, с какой она была выкрикнута из-под бронзовой лошадиной морды:

— ...Да ведь поймите же вы... через полгода навсегда уничтожим самое проклятое зло — деньги... Ни голода, ни нужды, ни унижения... Бери, что тебе нужно, из общественной кладовой... Товарищи, а из золота мы построим общественные нужники...

Но тут снежный ветер залетел глубоко в глотку оратора. Сгибаясь со злой досадой, он закашлялся — и не мог остановиться: разрывало легкие. Солдаты постояли, качнули высокими шапками и пошли, — кто на вокзалы, кто через город за реку. Оратор полез с цоколя, скользя ногтями по мерзлomu граниту. Человек с поднятым воротником окликнул его негромко:

— Рублев, здорово.

Василий Рублев, все еще кашляя, застегивал пальтишко.

Не подавая руки, глядел недобро на Ивана Ильича Телегина.

— Ну? Что надо?

— Да рад, что встретил...

— Эти черти, дуболомы, — сказал Рублев, глядя на неясные за снегопадом очертания вокзала, где стояли кучками у сваленного барахла все те же, заеденные вшами, бородастые фронтовики, — разве их прошибешь? Бегут с фронта, как тараканы. Недоумки... Тут нужно — террор...

Застуженная рука его схватила снежный ветер... И кулак вбил что-то в этот ветер. Рука повисла, Рублев студено передернулся...

— Рублев, голубчик, вы меня знаете хорошо. — Телегин отогнул воротник и нагнулся к землистому лицу Рублева. — Объясните мне, ради Бога... Ведь мы в петлю лезем... Немцы, захотят, через неделю будут в Петрограде... Понимаете, — я никогда не интересовался политикой...

— Это как так, — не интересовался? — Рублев весь взъерошился, угловато повернулся к нему. — А чем же ты интересовался? Теперь — кто не интересуется — знаешь кто? — Он бешено взглянул в глаза Ивану Ильичу. — Нейтральный... враг народа...

— Вот именно, и хочу с тобой поговорить... А ты говори по-человечески.

Иван Ильич тоже взъерошился от злости, Рублев глубоко втянул воздух сквозь ноздри.

— Чудак ты, товарищ Телегин... Ну, некогда же мне с тобой разговаривать, — можешь ты это понять?..

— Слушай, Рублев, я сейчас вот в каком состоянии... Ты слышал: Корнилов Дон поднимает?

— Слыхали.

— Либо я на Дон уйду... Либо с вами...

— Это как же так: либо?